
Тот город, в котором ты никогда не была,
едва различимый на географических картах,
плавится летом, прокаливаясь добела,
до черноты остывает к началу марта.
В том городе есть железнодорожный вокзал
с фасадом, хранящим оттиски сонных взглядов
тех, кто когда-то мимо него проезжал,
не пытаясь понять, что прячется за фасадом.
Там никуда не спешат, там больше живут пешком,
а если надо быстро — на велосипеде,
там баба Маруся, торгующая молоком,
деньги берет через раз, потому что соседи.
Там в каждом апреле жарко цветет сирень,
а в октябре воспаляются клены,
но позже, когда вокруг начинает сереть,
город стоит равнодушно, как приговоренный.
И только в конце декабря, один раз в год,
над ним пролетает серебряный самолет...

Забыть болезнь, открыть окно, вдыхать
сосновую предутреннюю влажность,
многозначительно молчать о важном,
а прочего — совсем не замечать.

Быть может, эти сосны высоки
не потому, что замысел природы,
а потому, что парусному флоту
положены, природе вопреки.

И в каждой — молчаливая мечта,
скажи — "мечта", и ты услышишь — "мачта",
все остальное — большего не значит,
чем беличья пустая суета.

Все остальное — это мокрый срез
и перспектива жить с фантомной болью,
и видеть, как пересекает поле
дорога, покидающая лес.

Я больше дворник, нежели поэт,
и, с этим примирившийся однажды,
я обметаю деревья скелет,
проглоченный двором многоэтажным.
Опавшая к морозам желтизна
бросается под ноги сквозняками,
но если дереву зимы не знать,
откуда б эти строчки возникали?

Я больше птица, нежели звезда,
восход которой птица отмечает,
июнем поселенная в кустах
бессонными и юными ночами.
Но если умолкает соловей —
все потому, что птица точно чует,
что жизнь без солнца — смерти солоней,
и от того всю жизнь за ним кочует.

Я больше мальчик, нежели старик,
и для меня естественней и ближе
терпеть пока под ребрами сгорит,
чем жечь костры из рукописей книжек.
И осенью, найдя среди двора
себя с метлой стоящим у березы,
осенние останки убирать,
не замечая вынужденной прозы.

Молитва о поэте

Волхование на крови,
воркование голубей —
с неба свалится серафим —
равнодушно его добей.

Закопай его, как зерно,
и однажды на божий свет
черноземный и проливной
прорастет из него поэт.

Будет жизнь для него тесна
вплоть до смертных к Тебе молитв,
да воздастся ему сполна,
отрыдается, отболит.

Но стихами своих стихий
самовольных — на краткий срок,
он оплатит свои грехи
и засветится между строк.

Ты храни его и смотри
как пылает он в этот миг,
а когда он почти сгорит,
Ты прости его и прими.

Ветер гуляет в диких моторошных полях,
бродит боец убитый, ищет себя в земле,
а в монастырской раке спит богатырь Илья,
в темной пещере инок песни поет Илье.

Гнутся и стонут стебли, крошатся небеса,
падают их осколки в мутную кровь реки,
слышит Илья сквозь песню страшные голоса,
чувствует – тяжелеют сердце и кулаки.

Снится ему, что в поле он замыкает строй,
звезды летят шрапнелью от грозových высот,
а за спиной на небо новый бежит святой —
пальцем заткнула вечность липкий его висок.

Саблезубый монгол на затопленной улице Китежа
точит саблю и зубы, сияет промасленный взгляд.
Если долго смотреть в эту воду, то можно не выдержать,
а ведь это всего лишь твой собственный внутренний ад.

Долго, коротко ли бродишь берегом странного озера,
прячешь тайны и стыд в непролазном его камыше,
а вдоль берега едут цыгане на ржавом бульдозере,
да облезлые кошки гоняют летучих мышей.

И невесты в трико скачут в чащу лесную лягушками
за отпущенной кем-то случайной любовной стрелой,
а над ними кружат одичавшие томики Пушкина,
и сбиваются в стаи, готовые встать на крыло.